

мария
голованивская
> двадцать
писем господу
богу

Мария Константиновна Голованивская

Двадцать писем Господу Богу

Текст предоставлен правообладателем

Аннотация

В основе романа – треугольник, но это не любовный треугольник. Вершины его определяются тремя понятиями Deus (Бог), Mors (Смерть), Eros (Любовь). Свои отношения с этими тремя первоосновами человеческого существования и пытается определить герой, находящийся у последней черты – на пороге смерти.

Содержание

1	5
2	24
3	44
Конец ознакомительного фрагмента.	46

Мария Голованивская

Двадцать писем

Господу Богу

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

– Глухо! – кричит он уснувшему механику.

Розовые лепестки разной плотности и разного размера, розовые лепестки, как будто даже немного липкие, падают ровным потоком с плодоносящего неба, белого, как молоко. Розовый крупный снег, сахарная расплюснутая вата, ни ветерка, ни скрипа, касается щек, скользя оставляет влажные следы, касается носа, смазывая его запахом...

Болгария.

Может быть, Болгария с ее знаменитым розовым маслом? ...смешивается с волосами, даже немного трудно дышать, слишком уж много этих приторных сладостей в воздухе.

Берег.

Летом оживает воздух. В его голове на специальных извилинах должен быть записан и звук, и картинка. Вот он – воздух, наполненный жужжанием и порханием, но эти лепестки и берег с песком, на котором кардиограмма моря, спокойные мягкие колебания, вся поверхность едва дышащего моря в этих лепестках и – кто знает, почему – ни малейшего звука!

Он не слышит совсем ничего, словно выключен звук, он мысленно перебирает клавиши, вот это, кажется, звук, двигает, крутит, поворачивает. Нет звука, глухо.

– Глухо! – вновь кричит он уснувшему механику.

Мальчик появляется на берегу, в зеленых плавках, облеп-

ленный лепестками, ему хочется искупаться, он вытягивает носок, чтобы попробовать воду, но не может добраться до воды, покрытой плотной коркой этих чернеющих на глазах лепестков.

...И он ступает на воду и идет по ней (откуда это, откуда, как вспомнить, за какую нить потянуть?). Вода пружинит под ним, он прыгает на ней, как на батуте, и хохочет (звук!). Тогда и все подходят к морю, оглядываются на свои почему-то трехпалые следы. Вначале оглохший проверяет, выдержит ли эта корочка, уже сделавшаяся прозрачной как лед, а потом и все остальные, вслед за ним, убедившись, что вода твердая, пускаются вдогонку за мальчиком.

Что там всегда в глубине?

Удлиненные колеблющиеся растения, яркие веселые рыбы. Веселые, правда, не все. Они веселые, но в целом. Некоторые солидны и медлительны, некоторые трусоваты и суетливы, но форма их изумительна, в отличие от самого этого тупорылого слова «форма», вязкого, как пластилин, безрадостного, как подростковый прыщ.

Бег становится все быстрее и быстрее, и поэтому мальчик в зеленых плавках приближается и приближается: шоколадная спина, влажные, слегка выющиеся волосы на затылке. Надо догнать и обогнать его, ведь это мелькают не пятки, а дни, это молодость, когда все красивое вызывало только одно желание: догнать, схватить, взять.

Но лепестки застывают (кажется, так уже когда-то бы-

лю), превращаются в леденцовую стену, и бегуны застывают, словно крошечные крабы в янтарном брелоке, кажется, с каких-то островов, где навсегда остановилась молодость.

Полная скованность, а под ногами жижа. Через секунду будет вода и жестяной волос, искрящийся до боли нож.

Все раскромсано: зеленые плавки, затылок, белое небо, песок, рыбы. Рыбы страшнее всего. Боль шевельнула своим жестяным волоском, превратившимся тут же в жилу, в канат, в шампур. Осколки жгут память. На этот раз не было звука – мелькает у него в голове, и он втягивает носом воздух прежде, чем открыть глаза.

Выдох.

Розовый свет сквозь веки.

На глазах камни.

Комната.

Страшный шум с улицы, разглядывать который в сотый, в миллионный раз – не сейчас...

– Ты спал?

Ровный голос, сине-фиолетовый, некогда столь сумасшедше любимый.

– Нет, – отвечает он, не поворачивая головы.

– Укол?

Симуляция обыденности, подавленная тревога, подражание профессионализму медперсонала.

– Пока нет.

– Будем обедать?

Он называет ее Мартой, хотя у нее совсем другое, красивое имя. Он называл ее Мартой, потому что они познакомились именно в марте, и это было настолько давно, что между днем знакомства и сегодняшним днем пролегла целая жизнь. Он хорошо помнил, что в той, иной жизни, в которой произошло их знакомство, они пережили друг к другу страсть, они сломали жизни, которые предшествовали их знакомству, и провели двенадцать лет вместе в крошечной квартирке в том самом городе, где родилась она и где родился он. И длилось это до того самого момента, как она выбросила из окна его вещи, моментально, импульсивно, не делая различия между тем, что бьется и что ломается, не простив того, на что закрывала глаза сотни раз, и что было свойственно, нужно сказать, в полной мере и ей самой – измены.

Она столь же стремительно уехала на другой конец света, оторвавшись от него пространственно и даже загадочным образом во времени, отставая на добрую половину суток и находясь по отношению к нему почти всегда «вчера». Она жила у какой-то своей подруги, деля с ней, как он подозревал, не только кров, но и постель, ездила на велосипеде, лопала сэндвичи, перешла, он был уверен в этом, на любимый «золотой» Winston, довела до совершенства свой и так всегда бывший элегантно-провоцирующим облик: узкие, как у мальчика, бедра теперь подчеркивались джинсами «нужной» модели, а маечка была «нужного» цвета и с «правильным» вырезом.

А потом появился и «умопомрачительный» костюм – это когда уже была первая работа в библиотеке – который делал из нее, высокой, смуглой, вызывающе коротко стриженной, с алым, как рана, ртом, настоящую секс-бомбу. И результат не замедлил сказаться: она нашла, соблазнила, увела (немыслимо!), вышла замуж и переехала сюда, в Европу, в город, о котором она мечтала всю жизнь.

Их завтраки, обеды и ужины призваны были имитировать нормальное течение жизни. Для него они становились все более и более символическими. Ему казалось, что пища приближала его конец. Но он для поддержания общения съедал по ложке всего, и Марта делала вид, убирая со стола, что не замечает его почти нетронутых тарелок. Они разговаривали мало. В самом начале они осторожно разглядывали друг друга, он понимал все, что видел, но эмоций не чувствовал, боль и болезнь убили почти все эмоции, направленные на внешний мир. Он даже почти уже не переживал то зрелище, которое представлял сам.

В начале болезни он часами проводил время у зеркала. С каким-то даже странным сладострастием он подмечал и периодически инвентаризировал все с поразительной быстротой нарастающие черты деградации и умирания. Теперь же, когда все говорило о скорой развязке, он совершенно потерял интерес к своей внешности, только время от времени разглядывал свою полупрозрачную руку, протягивая ее навстречу солнечным лучам. Почему-то охотнее он выбирал

для этой цели именно закатное солнце, и каждый раз констатировал, тщетно пытаясь вспомнить название некогда обожаемого им романа, где как раз это качество ставилось главному герою в заслугу и отличало его от всех прочих обитателей созданного писателем мира: прозрачность. Так вот, он был прозрачен, проницаем, легок, как воздух, как стекло, как мысль младенца.

Его звали Ласточка.

Между ним и Мартой неясностей не было: она вытащила его сюда умирать, потому что здесь умирать комфортнее.

Может быть, в этом жесте была ее месть.

Может быть, это просто факт общей с ней биографии.

Она сняла для него эту квартиру, она научилась быть медсестрой, она рассказала мужу историю об умирающей подружке детства, она – зритель и участник драмы, которая, возможно, нисколько и не трогает ее.

Мотивы безразличны.

Так случилось, что они вместе ждут, и ждут одного и того же.

Вот он идет по лесу, держа за руку Ингрид, а сзади идет Марта, почему-то блондинка, и ужасно хохочет. «Ингрид прекрасно говорит по-русски, – говорит он, оглядываясь, Марте. – Вот посмотри, ее письма ко мне написаны как будто бы русской, хотя у нее в роду никогда не было русских, все истинные арийцы». После этих слов Марта начинает хохотать еще громче.

Ветки мешают идти, и он отодвигает их в сторону левой рукой, потому что правой обнимает Ингрид.

«Слишком яркое для осени освещение, – мелькает у него в голове, – и румянец на щеках Ингрид сияет ярче солнца». Лес редее, Марта превращается в огромную птицу и, хлопая мощными крыльями у них над головами, устремляется назад, в чашу, из которой они выбрались с таким трудом. О чем они, эти болезненные сны? Последний взгляд через плечо, прощальная вибрация нейронов, которая вместе с воспоминаниями колышет еще черт знает сколько мусора. Но зачем, к чему?

Внезапно они все трое оказываются в городе грязных зеркал, где у каждого здания неотличимый двойник, покачивающийся в мутных и зловонных зеленоватых водах. Они гуляют по узким улочкам с затхлым запахом, и истоптанные как сандалии дорожки сплошь испещрены указателями: «на Сан-Марко», «к Риальто»... Запах залежалого белья сменяется ароматами курений и ладана, и постоянно оказывается перед глазами деревянный истекающий кровью-краской Христос.

На одном из искрящихся золотых куполов опоясывающая надпись: «Распав человека, приковав его к координатам времени и пространства, времени, проходящего на цыпочках, времени тихого, незаметного хозяина-гостя, и уносящего, словно пчела, нектар жизни, и пространства навязчивого, грубого, непреодолимого, насилующего, ты обрек несчаст-

ное, созданное тобою же существо, в особенности еще и тем, что лишил его какой бы то ни было цели, а потому и осмысленности, а потому и опоры, на мучения, рядом с которыми муки Христовы – детская забава».

«Странно, – подумал он, просыпаясь во сне, – это строки из письма, которое я прочел всего несколько дней назад, из первого вскрытого мною письма. С Ингрид мы развелись спустя три года после этого итальянского путешествия – мы спешно свернули на Понте дель Академия, она клялась мне, что ничего не видела, «что любит мьеня до страшно», и что так будет продолжаться всю жизнь».

Ей двадцать два, на ней голубые коротковатые штанишки, от ее внешности веет свежестью и стерильностью: кажется, ни один микроб, не то что сперматозоид, не выживет, коснувшись этой навитаминизированной кожи. Вот они топают по деревянному мостику, а через три года он уже оформляет витрины и делает ремонты в городе, названия которого он никогда не употребляет даже мысленно: он умер для него раньше него самого, и поэтому он называет его так: «город, в котором я когда-то родился».

Он часто смотрит на улицу. Марта ставит ему кресло, подкладывает под голову подушку и распахивает окно настежь.

То, что он видит, настолько отталкивает, что уже через несколько минут мысли увлакивают его в совершенно иную реальность, давая возможность воспоминаниям наполнить голову до краев. А видит он следующее: дом, в котором на-

ходится квартира, располагается в самом центре города, всего в пяти минутах от Лувра, но никакие красоты отсюда не видны. Он является неотъемлемой частью улицы, напоминающей забитую отходами кишку. Это «текстильная» улица, в каждом доме и каждой квартире бесконечно раскраивают, шьют и гладят люди, внешне ничем не напоминающие тех французов, представление о которых гнездится в каждой отдельно взятой голове любого жителя земного шара. Внутренности помещений через окна без штор видны досконально: неоновый свет даже в самый солнечный день покрывает какой-то мутью облезлые стены, утюги наидревнейшего образца на черных жирных проводах, спускающихся откуда-то сверху к серым торсам на палках, чтобы полные швеи в платьицах без рукавов и с забитыми булавками ртами и мужичонки в кепках, болтающие с ними, могли гладить, вождедея, эти бесчувственные тела. А по вечерам безо всяких утюгов прикоснуться к торсам собственным, неуклюжим и неказистым движением, и разглаживать-наглаживать складочку за складочкой, бугорочек за бугорком... Все то же самое происходит и в нижних этажах его дома, лестничные пролеты которого увешаны обшарпанными табличками: «Не плевать», «Не сорить», «Не бросать окурков». Его дом, как и вся эта улица, просыпается ровно в восемь часов утра, сопровождая это пробуждение истошным грохотом и ревом, который внезапно смолкает в семь вечера, когда часть продукции уже развезена по магазинам водителями в касках на мотоцикле-

тах с прицепами и без.

Окна вымирают. Улица слепнет, поскольку ни одна из запыленных вывесок, как правило, вяло несущая некое собственное, часто даже славянское имя, не подсвечивается – не для кого гореть: кроме больного Ласточки на этой улице вечером и ночью нет ни одной живой души. Даже кошки нет. Темень и тишина. Хотя в пяти минутах ходьбы отсюда свет и разноязычный говор, вспотевшие официанты, Париж в вечернем макияже, вечно любующийся сам собою нарцисстичный Париж!

Убедившись в неизменности картины, он обычно мысленно переносится в сезон дождей, в Прибалтику, вспоминая бесконечные туда поездки и возвращения в самые разные периоды жизни.

Вот он совсем еще мальчик, с ингалятором в руке – в детстве он страдал астмой, но мама все равно упорно продолжала возить его в этот дождливый, сосновый край. Родители снимали в рыбацкой деревушке под Юрмалой целый дом, который набивался до отказа их друзьями и казавшимися общими детьми.

Он вспоминал первые детские лесные прогулки, на плечах у родителей, когда с колоссальной высоты вглядываешься в мокрый мох и грибы. Иногда их ссаживали, чтобы они могли сами сорвать «это». Они путешествовали верхом и обожали эти прогулки. Затем первые велосипеды, эпоха разбитых коленок и ссадин. Они, дети, жили там все лето с мамами,

флиртовавшими с кем попало, кроме пап, приезжавших всего на месяц зевать и отсыпаться. Со временем их отселили в детскую с роскошным видом из замочной скважины на родительские кровати, и иногда, насмотревшись вдоволь, они долго потом шепотом обсуждали увиденное, понимая сами не зная что.

Он очень отчетливо помнил день, когда внезапно появился папа, прилетел всего на две ночи, а один из маминых приятелей внезапно исчез на эти два дня. Потом папа уехал, даже не попрощавшись с сыном, и началась эпоха разговоров взрослых за закрытыми дверьми. Мальчика перевезли жить к тетке и бабушке, а с мамой они стали «друзьями».

У него, у Ласточки, в кармане всегда было больше денег, чем у сверстников, у него было несколько часов, у него было просто-напросто все, о чем он мечтал, и даже девушки к нему первому смогли приходить домой, засиживаться допоздна, а потом и оставаться на ночь.

Потом он еще много лет ездил в эту деревушку, но память больше уже ничего не подсказывала, кроме того дня, когда утонул в море местный мальчик в зеленых плавках, тот самый, который теперь отчаянно являлся к нему в его фебрильном бреду и никак не хотел повернуться лицом, видимо, подспудно боясь, что выглядит уже не так молодо.

Тело вытащили из воды, и какие-то мужчины тщетно пытались вернуть мальчика к жизни, выдыхая ему в рот и беспомощно разводя его же руками. Отец мальчика сидел на бе-

регу и рыдал громко, как женщина. В последующие несколько недель, которые они провели там, постоянно звучало в разговорах местных жителей слово «Каспер» – так звали мальчика в зеленых плавках, и это было то единственное, что мы понимали из их темпераментных и влажных от слез речей.

Как-то он рассказал Марте о письмах. Начал издалека, будто собирался живописать занимательную историю. Начал рассказывать, кажется, за ужином. Он чувствовал себя в этот день намного лучше, и силы, как всегда, пробудили в нем разговорчивость:

– Знаешь, когда собираешься куда-то ехать, всегда обрушивается на тебя шквал звонков и просьб от знакомых и не очень знакомых людей.

– Так поступают только русские, – оборвала его Марта. – Для них просить – что плюнуть. Мы не понимаем этого. У нас почта работает нормально.

Мысленно он не согласился с ней, поскольку всегда в обе стороны ездил с чемоданами, набитыми письмами и посылками. Ее агрессивные выпады против русских сначала раздражали его, но потом он понял или даже, скорее, просто решил относить это на счет ее типично эмигрантского комплекса: очернить прошлое, дабы настоящее выглядело по-светлее.

– Чего я только не возил, – улыбнулся он. – Однажды

из Вены я вез какие-то сублимированные куриные желудки для неизвестного мне больного гипертонией, а через месяц в Лондон я отвозил каким-то друзьям каких-то друзей персидского котенка, который страшно обгадил меня в самолете.

— Это когда ты ездил к своей лондонской крале? — фыркнула Марта. — На русских ты никогда не женился, с русскими ты так жил. И где ты в то время находил столько незамужних и столь рьяно желавших содержать тебя заграничных фиф? Загадка! Как ты работал с ними, я-то знаю: после первого знакомства — прогулка по архитектурным достопримечательностям столицы, по дворам, пахнущим кошками, вот особнячок, вот решеточка, вот балкончик, увлеченный проникновенный взгляд, мол, наше прошлое было великолепным. Потом музеи и концерты, совместное упоение искусством, вершинами творчества. Потом книги, знакомства с опальными художниками и поэтами, которых ты, Ласточка, кажется всех презнавал, ни одного не обошел вниманием. Плюс к этому, ты всегда красиво говорил о погоде, вот мол, какое там красивое небо над крышей, или освещение. О да, освещение было твоим коньком! Ты говорил: посмотри, какое сегодня освещение, воздух какого волшебного цвета, а вон то облачко ничего тебе не напоминает, нет? Я думаю, как раз после облачка и падали все барьеры, и ты получал паспорт, гражданство, ты садился в самолет с очередным котенком и вез его в очередную столицу мира очередным друзьям

друзей, делая их этим самым и своими друзьями. Я правильно говорю, Ласточка?

– Ты растерзала меня, как тигрица, – ответил он с улыбкой. Ее обиженная тирада была ему чем-то приятна: значит, облачко оказалось пролонгированного действия – но охоты поболтать не отбила. Сейчас я расскажу тебе, мой маленький дружок, очень страшную сказку, кривли, крабли...

Он проговорил тогда с Мартой весь вечер и рассказал ей историю о письмах, рассказал ей о том, как накануне отлета в Лондон его терзали телефонные звонки, как он собирал по всему городу письма и передачи, как он каждому говорил, что если письмо отнимут, то он... и так далее, и так далее. Он в подробностях описал ей и этот странный звонок: сначала долгое молчание в трубке и свое постепенно накалявшееся «алло» – видимо, звонивший хотел вначале проанализировать его голос, решить для себя, может ли он доверить ему свое поручение. Потом – встречу с изможденным юношей, говорившим голосом евнуха, что ссылался все время на какого-то общего знакомого, которого Ласточка так и не сумел вспомнить. Потом крафтовый сверток, перетянутый бечевкой – юноша долго мялся, прежде чем объяснить, что в нем находится:

– Вы же понимаете, ничего нельзя отправить по почте, – навязчиво повторял он. – Но когда он вернется, то обязательно должен прочесть. Там хранятся все письма к Нему, все двадцать, вы без труда отправите их из Лондона, адрес и ад-

ресат указаны на конвертах. Постепенно мы переправим все, мы не можем обременять вас большим количеством, но если вы сделаете это, вам зачтется, зачтется...

Ласточка понимал, чем рискует, но сверток взял, так как вообще любил экзотику. Хотя отправить в Лондоне письма так и не собрался.

Это было восемь лет тому назад, он с тех пор всюду почему-то таскал их с собой. Привез и теперь.

– Я начал читать их, – сказал он Марте.

– Ты закончишь свои дни в сумасшедшем доме, – выкрикнула она, видимо, на мгновение забыв, что он уже заканчивает их и заканчивает здесь.

Локти упираются в клеенку, всю в полустершихся красных и бордовых хризантемах (или это гладиолусы? в этой реальности часто трудно бывает вспомнить наипростейшие вещи), щеки и подбородок лежат на ладонях (большие пальцы под подбородком, остальные пальцы вдоль щек), голова жестко фиксирована – ни малейшее движение невозможно. Глаза жадно глотают буквы. На столе, на этой липкой клеенке – книга, с толстыми и мясистыми, как у некоторой породы кактусов, листьями-страницами. Она сама листает свои мускулистые листья, и он не успевает читать.

– Я, наверное, должен сочинить искусствоведческий опус, ну да, статью в журнал, – громко говорит он себе.

Страницы мелькают все быстрее, словно деревья за окном, когда едешь на машине с большой скоростью. Он ищет

ногой под столом педаль, чтобы чуть-чуть притормозить, движение и вправду замедляется, он пытается высвободить голову, чтобы чуть наклонить ее, буквы в книге делаются внезапно уж слишком мелкими, но голова словно приклеена к рукам...

– Это Суперцемент, – с уверенностью произносит он вслух.

Он страшно напрягает глаза, чтобы разглядеть текст, и только благодаря тому, что страница шевельнулась, как бы выпятив свою среднюю часть и образовав своего рода брюшко, у него получается разобрать: «ВиттелиЙ трепетал от страха, он не мог решиться на преступление. Он боялся, что, сохраняя Блезу жизнь, подвергает себя смертельной опасности, но в то же время знал, что, приказав убить его, рискует вызвать к себе всеобщую лютую ненависть».

– Наверное, кто-то из древних, – решил он и хотел левой рукой закрыть книгу, чтобы посмотреть название. Но рука не отпускала щеку, а страница все навязчивей и навязчивей выпячивала свой животик.

Когда он решил продолжить чтение о ВиттелиИ, его уже не было на странице. Он поискал глазами, но не нашел, и тогда почти случайно прочел несколько строк в самом центре животика. «Ждать хорошего, терпеть плохое – перебирание цифр. Складывать и вычитать. Говорить себе: через неделю, через три дня, через час. Остаться неподвижным, сосредоточившись на движении времени. Двигаться, отвлекаясь.

Не смотреть, не считать, чтобы потом урожай выхолощенных часов и минут был большим. Научиться, уметь, смо...»

Страница перевернулась.

Он почувствовал досаду.

Он почувствовал себя обманутым. Но пока он анализировал свои ощущения, глаза продолжали читать то, что было на следующем развороте. Буквы, как блохи, прыгивали со страниц и впивались в его зрачки, слова, как черви, фразы, как змеи. Он хотел перестать читать и не мог. Захлебываясь, начиная постепенно кровоточить, глаза глотали:

«...Если бы женщины знали, что я могу прочесть по их лицам, они бы отказались фотографироваться у меня. Когда речь идет о лифтинге, очень хорошо видны две полосочки у ушей, как будто два мускула подтягивают лицо вверх... **SIGNUM CONFESSIO- NIS PASCHALIS** apud RR. PP. Capucinos, Bulli. anno 1878... Рассуждение есть действие ума, им же два понятия сопрягаем, и тех союзов подробно нам представляем, то есть два различна понятия так соединяем, да едино другому аки положено быти утверждением или отрицанием. Понятие похвалы сравняю с понятием смерти за отечество... Я объяснял все это менее научно, видя в самом психическом раздвоении результат процесса отталкивания, который я тогда назвал «отражением», а позже... До 1920-х каждая женщина должна была иметь кудряшки, дамские журналы были полны рецептов соков, которые мешали волосам распрямляться... Очень прошу тебя,

дорогой папенька, прислать мне с нарочным немного денег, дабы... Опрос владельцев небольших гостиниц в шести регионах Британии показал, что выносят все – полотенца, туалетную бумагу, плечики для одежды, вилки и ножи. Отдельный постоялец много не возьмет, но общий объем пропаж впечатляет... После того, что ты сделал со мною, жизнь мне моя ну совсем не мила... Приступая к Нему, камню живому... и сами как живые камни...»

Он чувствовал, что глазное кровотечение прекратилось и началась рвота. Из рта сплошным потоком вырывались перемолотые буквы, слова и фразы. Он чувствовал, что иссякает, чувствовал липкость и зловоние вокруг себя, но перелистывание страниц не прекращалось, а, наоборот, по мере того, как жизнь уходила, она перетекала в них. Чем слабее становился он, тем сильнее становились они.

Его спас стук в окно. Стучал Янис, их латышский хозяин, рядом стояла его жена Милда, и в руках она держала огромные пучки редиса, укропа и петрушки, и букет этот был настолько велик, что почти полностью скрывал ее голову, а Янис потрясал огромных размеров треской.

Он подошел к окну и распахнул его, чтобы принять все это и расплатиться с ними, они почему-то запросили золотых маренг. «Морская рыба, надо маренги платить», – с трудом выговорил латыш. Он достал им маренги, плоские, прозрачные, мягкие, похожие на блины, и отдал со смехом. Янис с Милдой тотчас же растаяли в воздухе, и передоним оказа-

лась дюна, поросшая лесом, перед дюной ручей, из которого насос качает в дом техническую воду, ручей перегорожен сеткой, кто-то из хозяйских детей ловит, и небезуспешно, в ручье форель, а в другом окне – он знает, ему не надо даже оглядываться, он уже как-то подмечал это – совершенно иной пейзаж. Там лазурное море и плещущиеся дельфины, галька на берегу и яркие огромные зонтики от солнца...

«Сколько же книг я прочел за жизнь? – подумал он просыпаясь. – Горы? тонны? километры?»

– И вправду хочется рыбы, – сказал он вслух.

– Наконец-то проснулся, – сказала Марта, оказавшаяся рядом в кресле. – Я, видно, что-то перепутала с дозой, и ты спал четырнадцать часов. Мне только не хватало тебя угробить.

– Кажется, ремиссия, – проговорил он осторожно. – Звони Мартине с Жераром – завтра играем в маджонг.

Ремиссия длилась неделю, и каждый день он читал письма.

Вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье, понедельник – семь дней ремиссии. Подарок, но не надежда. Трудно, чтобы подарок не вызывал надежды: они как-то связаны между собой, в первом – элемент второго, во втором – элемент первого. Трудно, принимая подарок, не испытывать надежды, той или иной, и в этом опасность подарков, яд подарков, обман подарков.

Именно так и случилось с первой ремиссией. Он, как и всякий человек, впервые принимающий подарок из рук чужого, был страшно обманут и раздосадован, он был сломлен и даже почти что убит последующим отъятием надежды, и именно тогда он особенно яростно возненавидел этого Чужого, подарившего и отнявшего ее.

Он всегда недолюбливал Его. Вначале из-за повального увлечения Им своего окружения, затем из-за созревшего уже тогда скептицизма, он недолюбливал Его за то, что люди, страстно веровавшие, казались ему неисправимыми гордецами, тиранами, ханжами. Совершая добрые поступки, они никогда не забывали мимоходом полюбоваться собой. Многие знаменитые Его приверженцы на деле часто оказывались сплетниками и пачкунами, не говоря уже о рясоносцах, у которых нередко из-под рясы топорщились погоны. Ему часто казалось, что вера залепляет простым смертным глаза, что

они не видят ничего вокруг, не видят красоты и радости, распыленной в воздухе, не чувствуют свободы и окрыленности, а только все время разглядывают что-то внутри, выискивают в себе каких-то букашек, сея вокруг несчастье своими бесконечными самопожертвованиями и якобы добрыми делами. Он недолюбливал Его, но вначале недолюбливал скорее равнодушно. Ненависть родилась после первой ремиссии, только тогда он и решил прочесть письма, интуитивно надеясь всласть накормить появившуюся ненависть к Нему. Он ошибся и не ошибся одновременно. Он достиг некоей цели, но это была иная цель.

Ремиссия, помимо совершенно иного самочувствия, добавок дарила ему и разнообразие в распорядке дня. В первый же день ее, во вторник, он проснулся свежим и бодрым, и эта бодрость даже навела его на мысль о прогулке. После символического завтрака (на этот раз он все же допил стакан апельсинового сока до конца и даже как-то победно крикнул, проглотив последнюю каплю) они вышли на улицу, жужжавшую и трещавшую как обычно. Одевание и спуск по лестнице сильно его утомили, но он не признавался себе в этом.

Пока они проходили по улице, он совсем не смотрел на дома и сновавших вокруг людей с бесконечными полиэтиленовыми пакетищами в руках, через прозрачные стенки которых были видны неподвижно-сплюснутые и обвисающие на изможденных деревянных плечиках платья и костюмы. Он смотрел вверх и громко вдыхал воздух. Он смотрел на птиц

и облака, и чувствовал себя таким же легким, как они. Единственным, что отяжеляло его, была усталость, но он не замечал ее со всем свойственным ему когда-то замаскированным упорством. Его «парение в облаках» было прервано вопросом Марты о том, куда же именно они отправятся, и они быстро договорились, что пойдут по Пуасонньер.

— Где-то в этом районе угасал двадцатипятилетний Лотреамон, — сообщил он Марте мимоходом.

Реакция нулевая.

Они миновали здание Биржи и пошли по искривляющей-ся улочке, заглянули в хозяйственную лавочку, где долго рассматривали какие-то волшебные щетки и натирки, а заодно и умопомрачительного действия стиральные порошки. Марта о чем-то недолго поболтала со скучающим стариком, владельцем лавки, который, когда они уходили, не приминул пожелать им удачного дня. Потом они разглядывали витрину то ли китайской, то ли японской забегаловки, где красовались пластмассовые яичницы, сэндвичи из папье-маше и еще некоторые неведомые ему яства восточного происхождения, основным компонентом которых, по его скромным понятиям, являлись то ли крупные креветки, то ли мелкие лангусты. После они застряли у какой-то распродажи непонятно чего, и Марта, не удержавшись, все же купила за бесценок дюжину ножей с пластмассовыми ручками, приговаривая, видимо, свою коронную фразу: «Этого за такие деньги им оставлять нельзя». Ему было как-то забавно глядеть

на все это, было бесконечно приятно наблюдать эту восхитительную бессмысленность, абсурдность и в то же время легкость и радость ежедневной мельтешни, ощущать сладость не рассуждающего о себе бытия.

Наконец они добрались до углового кафе. Ему все же пришлось признаться, что устал и что нужно передохнуть перед тем, как проделать обратный путь. Они зашли и сели в самом углу застекленной террасы, откуда была видна вся залитая солнцем улица: степенно прохаживающиеся деловые люди в дорогой одежде и с безукоризненными прическами, припанкованные курящие девахи в кожаных куртках, мальцы в наколенниках, катающиеся на скейтбортах. С противоположной стороны улицы на них пялились прозрачные безволосые пластмассовые манекены, обвешанные разного рода модными штучковинами – в магазине шла «никогда ранее невиданная и неслыханная» распродажа молодежной одежды. Но всего этого он не видел, перед глазами у него было черно от усталости, и только будоражащая ароматная струйка кофе, добравшаяся с трудом через его внезапно охваченный насморком нос до тусклых извилин, все же дарила надежду на то, что хватит сил добраться домой.

Он вернулся мертвый.

После обеда лег поспать, и, засыпая, уже знал, чем займется, пробудившись.

«Господи, я убил, – писал корявый, отвыкший от письма мужской почерк на выцветше-желтом тетрадном листе в

клеточку, – и сделал я это потому, что на то была воля твоя.

Ребеночка мы с женой завели поздно. Война, неустроенность, здоровье поправлять надо было, работали... У меня-то хорошая была профессия – наладчик, я на холодильных установках работал, а она так, где придется, и на стройке. Потом выучилась на швею и в швейный цех пошла. Потом и комнату нам дали, и деньги, небольшие, правда, но завелись. Решили – откладывать некуда, все, вроде, уже установилось – пора значит.

Начали, вроде, в этом направлении стараться, да все никак у моей Анютки чего-то не ладилось, видать, «по женской линии» у нее проблемы были. И она начала по врачихам бегать, та одно пропишет, эта другое. Меня потащили к врачу, думали, я какой порченный, но вышло – нет, нормальный мужик я, хоть и ранения у меня было два, одно в руку, другое – в шею навывлет. Одна врачиха говорит, вам надо на курорт, а дело зимой было, ну мы стали лета ждать, деньги собирать, поехали, море повидали, на пляжу лежали, Анька-то моя все стеснялась заголяться, попривыкла потом.

Ну, вернулись мы, и так, и эдак, а дело стоит, опять по врачам, а они говорят, вроде организм у вас хороший, несношенный, а рожать поздновато. Очень мы разгоревались от таких их мнений. Но потом бабка какая-то Анютке говорит, мол, ты сходи потихоньку в церкву, да и поставь там свечку Марии, той иконке, где она с сыном своим сидит, раз сходи, другой. Денег на свечки не жалеи, как следовало ставь, но

скрытенько, а то, сама знаешь, что за такие дела сделать могут. Не болтай, говорит, о мужике своем подумай, с работы выгнать могут, да и ему нече трепать, пусть знает свое мужичье дело, да голову не ломает. Анютка моя – а ей уже сорок восьмой шел, я-то еще постарше буду, я с двадцать четвертого года – подумала, да и сходила пару раз в церкву. Набо-
ялась она, бедняжка – страх, вокруг многое творилось. Хотя мы про меж себя никаких разговоров не вели, да и не боялись ничего особливо, корни наши деревенские, в городских делах не шибко понимаем, живем, работаем, власть уважаем, так чего же нам, спрашивается, бояться?

Как обрюхатилась, рассказала мне все. Радость у нас была большая, но я сказал ей: «О похождениях своих забудь», хотя в глубине души у меня будто что-то затеплилось: врачи-то вот ничего сделать не могли, а Он, Ты то есть, помог. Как попов вешали, я сам не видывал, но слышал много, и сколько у них добра поотымали, так что в моем доме иконки не было, но отец с матерью, бывало, божились, и на словах часто добавляли, так что, как только Анютка понесла, во мне затеплилось чувство к Тебе. И когда рожать ее повезли, я, как сумел, помолился, попросил Тебя, чтобы и жене моей, и младенцу не слишком уж горько пришлось.

Да в общем-то так оно и вышло: разродилась легко, несмотря на возраст, врачи-то эти все говорили, что не разродится и резать придется, так вот разродилась распрекрасненько, и девчонка вышла гладенькая, розовенькая, ладнень-

кая такая – загляденье. И зажили мы, как же мы зажили, не скажешь даже этого на словах! Я все работал больше, чтобы был дома достаток, а Анютка ходила за Люсенькой, и была сразу и орлицей, и тигрицей, и коровушкой, так я и называл ее, глядя, как она с девчонкой управляет, скоро так, ловко, и вымоет, и накормит и книжку ей почитает. Разные детские книжки я ей тогда нанес, сам стал читать, увлекся ими даже. Позже, когда Людмила чуток подросла, я красок купил, и мы с ней рисовать начали. Все вечера я с Люсенькой за рисованием проводил, книжки специальные раскрашивали, а она умница такая была, лисенка – желтым красит, лес – зеленым, солнце – красным. Потом сами рисовать начали картинки к сказкам. Этот альбом с нашими картинками и теперь у меня с собой, весь слезами моими орошенный и поцелуями покрытый.

В школу пошла Люся. Анюта ей туалетов нашла – загляденье. На празднике в школе она и принцессу играла, и Белоснежку, волосики у нее длинные золотистые были, глаза голубые, как мои и у отца моего Матвея, а сама вся такая, как снежиночка, легонькая. Бывало подхвачу ее на руки, кружить начинаю, пушинка словно, хохочет-заливается: «Отпусти, кричит, папка, уже весь смех из меня вышел!», а я прижимаю ее к груди, и будто одно у нас с ней сердечко колотится. Счастье такое, что огнем жжет. Училась она очень хорошо, в старших классах случаем и нам какую книжку прочесть рекомендовала, мы с матерью читали. Мне-то по вече-

рам не больно хотелось про фортели всяких там изнеженных негодяев читать, но я читал, и поскольку видал, что Людмила вроде сочувствует им, сочувствовал на словах им и сам. С матерью-то у них лучше разговаривалось, иногда допоздна на кухне чего-то шепчутся, хохочут, вроде обсуждают кого. Я целовал их обеих, да и шел спать, пусть, думаю, мать жизни ее по-женски поучит, чего мне-то им только компанию расстраивать.

Подружек у нее много было, ведь сама она и разговористая, и улыбчивая, и когда соберет подруг своих в доме, я все сравнивал, какая из девушек лучше других, и всегда решал, что моя.

Потом у ней уже в конце школы завелся кавалер, парень яркий, но какой-то шалый, все гулять ее водил, да по кино, мы с матерью волноваться начали, по ночам все переговаривались, как бы не вышло чего, как бы дочку нашу от несчастья уберечь.

Но несчастье выпало нам иное.

Было это летом, как раз она школу закончила и собиралась в медучилище поступать, готовилась много, и вот собралась поехать отдохнуть, родители ее подружки пригласили ехать на машине за город, к озеру, покупаться, позагорать. Ну мы-то с матерью не против были, думали, что все сидит дома за своими книжками, так пусть хоть немного воздухом поглотит, двигаться-то надо ведь. Утро было ясное солнечное, ни ветерочка, позавтракали мы, в дорогу ей собрали, день я

тот по минутам запомнил, она сарафан в вишнях надела, косынку белую на голову, мать поцеловала, а мне рукой махнула несколько раз. Радостно так, любовно. Ну, поехала. День воскресный, я антресолю мастерить начал, давно Анна допекала меня «построй, а то не дом у нас, а свалка», ну вот и принялся я, а Анна чего-то по хозяйству, белье варит, обед готовит. Ждали мы Люсю только к вечеру, поэтому не спеша управлялись, разговаривали промеж себя, чего на зиму купить надо, да какие новые одежды Люське надо будет справить, ведь если в училище поступит, так там уж и первые серьезные ухажеры могут найтись, что ж, за будущего врача пойти – дело. Так мы весь день и проколготились, чаек, помню, раза четыре пили за день, потные все сидели, жарко, лето, окна распахнуты, а через них в дом и звуки разные попадают: и машина слышна, и воробыный чирик пробивается, и малец какой-то все никак утомониться не может, кричит, чертененок, на всю улицу. Время прошмыгнуло незаметно, уже и восемь, и девять, и десять, а Люськи нет все нет. В половине одиннадцатого, как сейчас помню, словно током пронзило нас с Анной, поняли мы, что беда пришла, но какая беда – не знали. Маялись.

Анна у окна стояла, раскачивалась, и песню какую-то заунывную такую пела, сейчас уже не помню, что это была за песня, то ли...

Около полуночи позвонили в дверь. Милиционер пришел. – Такие-то? – спрашивает. – Автомобильная катастрофа,

следуйте в такую-то больницу по такому-то адресу.

Пришли мы. Как нам ее сарафанчик, косынку и сумочку выдали, Анна чувств лишилась, а я держу Люсечкины вещи в руках и все спрашиваю, а что спрашиваю, и сам не пойму, говорю, словно рыба, рот раскрываю, а звука никакого нет.

Через полгода забрали мы ее домой, неподвижную, неговорящую, осунувшуюся, не то что повзрослевшую – постаревшую. Раздобыли коляску инвалидную, вывозили ее иногда на балкон, подышать, солнышко увидеть. Врач сказал, видит она точно, а вот слышит ли – не знал. Я тогда на пенсию ушел, мне как раз шестьдесят пять стукнуло, сижу все рядом с ней, разговариваю, книжки читаю. Мать готовит нам, кормим ее из ложечки, убираем за ней, ночью все глаза выплакали, при ней-то держимся, врачи говорили, вроде понимает она. Мать стала качать ее, пока не уснет, детскими именами называть, я однажды отлучился в магазин, прихожу, а она ее сидит грудью кормит. Испугался я, Анну в клинику увезли, полгода ездил к ней, но ум ее совсем видать помутнился, все про погремушки да про пеленки толкует, врачи сказали, вроде у нее и взаправду молоко появилось, хотя было мнение, что это скорее от порошков, которые ей дают.

Потом не стало Анны, там она и умерла, и я все время проводил с Люсей, приносил цветы домой, ставил перед ней, думал пусть полюбуется девочка моя, кормил ее, как мог, нежно из ложечки, выкатывал на балкон, говорил ей: вот, Люсек, погляди туда, там кто идет, погляди, собака, овчарка

называется, а там...

Книжки читал ей, помнил еще, по школе, что читать любила, читал, но ничего не отражалось на ее белом неподвижном лице, никогда и ничего, и страшная пустота была в ее огромных голубящих глазах. Только однажды, когда я читал ей сказку, известную такую, про Русалку, которая любила принца и на муки ради него пошла, и обезголосела, а потом, после того, как он так и не женился на ней, умерла, превратившись в пену морскую, Люсечка перевела на меня свои глазищи, и по щекам ее белым, словно фарфоровым, потекли две одинаковые слезинки, ровненькие такие и сверкающие, словно хрустальные. И чудовищная мысль тогда впервые посетила меня.

Я дрожал весь, словно изнутри пожираемый пламенем.

Я кинулся к ней и принялся покрывать прохладное лицо ее поцелуями, но глаза опять сделались пустыми, и лицо было словно мертвое – белое, холодное, неподвижное. Мы поняли тогда друг друга, это знал я, это знала и она.

Шли дни.

Я не спал.

Я выл по ночам как волк.

Я не выходил из квартиры, ничего не ел и ничего не давал ей. Я двое суток не менял ей пеленок. Я думал. И она, понимая это, видимо, понимая, лежала спокойно, без движения, ожидая того, какое же все-таки решение я приму.

Я не мог один принять решения.

Я пришел говорить к ней. Я сказал ей, что как будто понял, чего она от меня хочет, я плакал и кричал на нее:

– Скажи, скажи, – ревел я, – ты этого хочешь, этого? Отвечай мне, скажи, ты же знаешь, что я все сделаю для тебя, на все пойду, пусть даже потом...

Она неподвижно молчала, и мне показалось даже, что в ее глазах мелькнуло презрение ко мне. В эту минуту я вспомнил, что в самый первый год паралича мать притащила в дом иконку и все молилась перед ней, ездила куда-то к источнику со святой водой, осторожно ложечкой вливала эту живую воду в ее безжизненный рот. Я внезапно вспомнил об этом, потому что почувствовал на себе взгляд этого седовласого старца с иконы, одна рука его была опущена, другая поднята, он что-то будто показывал мне на пальцах, но глаза его, глаза, устремленные на меня – никогда не забуду я их бесовского блеска! – так вот эти глаза смеялись и так же презирали меня, как и эти голубые, обращенные на меня глаза с бесовскими огоньками.

Кровь закипела в моих жилах, я заметался по комнате с криками проклятий:

– Я проклиная тебя, малохольный, – кричал я старцу и плевал прямо на его седую бороду.

– Я проклиная тебя, потаскуха, за сговор с ним, ты хочешь к нему?! – кричал я Людмиле, – к этому растленному старцу, питающемуся невинными людскими душами? Нечего тебе делать на грешной земле, так и отправляйся, убирай-

ся вон! Забирай же ее! – взревел я в последний раз и, вырвав из-под головы Людмилы подушку, с силой накрыл ей лицо.

Я ожидал, что она будет сопротивляться, биться, стараясь высвободиться, я думал, что все будет так, как я видел это в заграничном кино, но она не шелохнулась, «Значит, хочет к нему», – мелькнуло у меня в голове, и я стоял так долго, очень долго, держа на лице ее подушку, и потом, когда у меня никаких сомнений уже не было, я отнял руки, и, не убирая подушку с лица, побежал вон.

Я здесь уже много лет, но эта первая встреча с Тобой лицом к лицу не дает мне покоя. Часто бессонными ночами я веду с Тобой беседы, осыпая Тебя упреками и оскорблениями. Я не могу Тебе простить ничего из того, что Ты сотворил с людьми. Вчера я говорил о Тебе с одним из моих соседей, и мы сошлись во мнении, что если когда-нибудь люди поймают Тебя, то обязательно убьют, вновь зверски растерзают, а это когда-нибудь обязательно случится, мне Ты уж можешь поверить. Бойся расплаты, грешник.

Твой раб...»

Это письмо обожгло Ласточку. Корявый мужской почерк нанизал его, как пойманную рыбку, на проволоку своей истории. Он не мог даже понять, почему этот сюжет, вполне годящийся для заурядной хроники происшествий (спятивший от горя отец душит свою парализованную дочь), так «пришелся». Он начал копаться в себе, думая, не было ли и у него когда-либо увлечения обреченными женщинами. Увлечения

не было, хотя одна его старая возлюбленная в муках скончалась от рака, здесь, в Париже, и он, в темных очках, чтобы никто не увидел его внушающего ужас лица, все же проводил ее в последний путь. Нет, дело не в ней. И вдруг он понял, что отождествляет себя с этой девушкой. Умиравших не понимает никто из находящихся рядом. Живые будто выталкивают умирающих в смерть, невольно, потому что у них, у умирающих, своя общая тайна, которой и является эта самая смерть и которой не надобно живым. Они ничего не хотят о ней слышать и знать, нормальные живые, а умирающие все впихивают да впихивают в их головы дурные мысли, мол «сегодня я, а завтра ты»...

Он вдруг представил себе, как пришли забирать тело задушенной девушки, как оно выглядело, это тело... Воображение... Он тут же соскользнул на себя самого, представил себя обделанного на оцинкованном (или они у них теперь пластмассовые?) столике для покойников, увидел себя голого, с какими-то кровоподтеками на ребрах, впалые глазницы, склеившиеся холодные волосы на затылке... Воображение всегда было одной из самых мощных мировых сил, разместившихся в его голове, воображение владело им и дарило ему иную реальность. В юности он закрывал глаза и, держа рукой запретное место, представлял себе предмет своих желаний в немыслимых позах, говорящей неслыханные слова. Воображение часто соединяло его с желаемыми женщинами, и он наслаждался сполна, а потом в реальности, в на-

стоящей реальности, все выходило значительно хуже.

Воображение работало на него и в иной сфере, иногда, когда он уже занимался всякого рода оформительскими делами, после изгнания из искусствоведческой аспирантуры за «несоответствующие времени» взгляды, воображение частенько дарило ему уже готовый проект будущего решения. Еще воображение позволяло ему подглядывать сквозь стены за другими людьми. Он видел, словно наяву, как, к примеру, Борька Соколов, распрекрасный художник, на деньги от продажи картин которого он сейчас отчасти и доживал, лижет зад мерзкому боссу, дабы выклянчить из-под него себе выставку, а босс этот его за бороду таскает и говорит, мол, не созрел ты еще, Борис Кактебятam, до выставки, ты лучше пока портретец моей жены изобрази, а мы на твое мастерство и поглядим.

Как раз недавно они с Мартой вспоминали, как встретили его на улице, толстого, взъерошенного, потного, как он потащил их к себе в мастерскую, угощал: на столе вареная картошка, кислая капуста, соленые огурчики с мизинчик, ледяная водка. Баб каких-то назвал, народу к вечеру собралась уйма... Потом, когда они уходили, все дружки его с этими бабами уже по углам на надувных матрацах делом занимались. «Я, – говорил Борька, – праздную сегодня свой последний день рождения. Мне, ребятки, сегодня тридцать семь лет исполняется, сами, говорит, понимаете, это для нас, для гениев, последний рубеж». Они выпили за гениев, на проща-

ние он подарил Ласточке с Мартой три картины, две ему, одну ей, а наутро перетрахавшиеся его друзья и подружки дрожащими с похмелья и попахивающими блудом руками вынимали его из петли в уборной, уже окоченевшего. Марта в Америке написала о нем несколько статей для газеты, его сделали очень модным на западе художником, кажется, и биография его уже вышла на разных языках, и выставок ему по всему свету настраивали множество.

Воображение часто губило его, сулило золотник, а выходил пятак, но главное теперь, теперь, когда только одна картинка, только одно живописное полотно, и всегда натур-морт, на столе, в гробу, темень от закрытой крышки, языки пламени. Здесь у него не было выбора – в землю идти или в огонь. Хоронить в землю здесь – слишком дорогое удовольствие, везти целиком тело домой на радость маме, счастливо доживающей свою старость с благообеспеченным обожающим ее специалистом в области вкушения сладких плодов развитых цивилизаций – непозволительная роскошь. Поэтому выбора не было. Его кремируют, он написал распоряжение, и похоронят здесь, на том самом знаменитом кладбище, где по ночам покойники переговариваются на чистейшем русском языке.

А обожающий мамочку спутник жизни, которого она при посторонних шуточно называет «дядя Слава», уж изыщет государственные средства свозить ее раз в год на могилу сына отвезать устриц.

Воображение было теперь его главной проблемой, и именно для борьбы с ним он принимал разные успокаивающие пилюли, которые всегда прописывают всем умирающим, чтобы они не так нервничали. Вот и после этого письма он выдавил из голубоватой пластиночки две таблетки – так он оценил мощь его воздействия на свою нервную систему – и проглотил их в надежде на то, что они быстренько вытащат вилку из розетки, и в его жадное воображение перестанет поступать ток.

Это было второе из прочитанных им писем.

Первое письмо он прочел некоторое время назад после первой ремиссии. Это было письмо шизофреника, то ли философа, то ли физика, то ли школьного учителя истории, с точностью сказать трудно. Письмо философски-обвинительное, и он, чтобы перебить впечатление от только что прочитанной истории, решил перечитать его, полагая, что оно только усилит эффект транквилизаторов и пойдет на пользу разволновавшемуся сердцу.

Бумага, на которой оно было написано, отличалась высоким качеством и белизной, почерк – мелкий, ровный, аккуратный, все одинаковые буквы идентичны по написанию, прописные буквы нигде ни разу не смешиваются с печатными, не было так же и помарок. Текст письма гласил:

«Распав человека, приковав его к координатам времени и пространства (тут Ласточка внезапно вспомнил, что как-то даже видел эти слова во сне, начертанными на огромном

золотом куполе), времени, проходящего на цыпочках, времени тихого, незаметного хозяина-гостя, и уносящего, словно пчела, нектар жизни, и пространства, навязчивого, грубого, непреодолимого, насилующего, Ты обрек несчастное, созданное тобою же существо на муки бесцельности и обреченности, рядом с которыми страсти Христовы – детская забава. Слыша стоны, вопли и зубовный скрежет, Ты стремишься врачевать терзаемых и убиваемых Тобою внушением, к которому прибегает любая женщина, желающая всего от мужчины. Ты говоришь ему: «В любви ко мне спасение твое». Но сколько же раз доверившиеся Тебе были обмануты, ведь слепой не поводырь слепому, а Ты слеп, раз не видишь, какой возымели результат деяния твои, и подл, коль, будучи слепым, пытаешься управлять слепыми, каждый раз приводя их к бездне.

Люди рождаются на свет не по своей воле, и не по своей воле умирают.

Попадаясь в объятия судьбы при рождении, они барахтаются, как рыбешки в сети, не ведая, в чем их благо и в чем беда. Крошечный их разум все время потешается над ними, заставляя радоваться поражению и угнетаться от побед. Если Ты, сотворивший все, а потому сотворивший и зло, открещиваешься от вины своей, указывая пальцем на непокорного и визгливо повторяя: «Это все он, а не я», то чего же Ты хочешь от червеобразных чад своих, поминутно видящих силу зла и Твою слабость?

Ты говоришь с людьми словами, но не Ты ли устроил так, что ничто так не далеко от истины как слово?

Ты желал стать и сделался кумиром, и лицемерно учил: «Не надо меня окумиривать». Мол, я единственный свет ваш, объяснение всего и вся, но не извольте держать меня за кумира. Так что же такое кумир, Ваше Высокое Величество? Да еще и добавляете, мол, не делай никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде, ниже земли...» Значит храмы все расписанные и увешанные от пола до купола, грешниками набиты, не дочитавшими писем Твоих? А не Ты ли, скажи на милость, позировал им, да еще и прихорашивался и позу покрасивше выбирал? Или это им дьявол в твоём обличии являлся, да и настоящих христиан в грешников обратил?

Так, что ли, выходит по-Твоему?

Любви требуешь, наказанием страшишь, но почему, расскажи мне, сделай милость, почему именно любви так захотелось Тебе от тварей этих? Не разумения, не признания, не солдатской верности, а именно любви? Не потому ли, что именно бабское в тебе нутро живет? Твоих грехов, Господи, которых натворил Ты с людьми – не меряно. Ты лгал, провоцировал, запугивал, изворачивался. Ты говорил, что всемогущ, а на самом деле, хитроумно прокляв знание, только и мог, что талдычить: «Любите меня, Любите меня одного». Ты ревновал, Ты сплетничал. Все это открылось мне, когда я, брошенный любимейшей моей женой в тяжелейшие душев-

ные минуты, принялся перечитывать Библию. Библия была для меня откровением. Я понял все. Прощай.

Раб твой...»

Это письмо развеселило Ласточку. Он вздохнул с облегчением. Но все-таки на другой день, когда они вчетвером с Мартиной и Жераром играли в маджонг, он вернулся к истории с девочкой, предложив каждому оценить ее. Высказанное друзьями вернуло его к мысли о том, что пустые слова отнимают силы, а глупые слова усиливают чувство одиночества. Он поклялся себе больше ни с кем не обсуждать писем, и когда потом несколько раз нарушил данную себе клятву, очень и очень об этом жалел. Хотя во время игры и обсуждения он был в удрученном состоянии, поскольку прямо перед приходом гостей любопытство взяло верх, и он вскрыл третье письмо. Посредине белого листа бумаги находилась склеенная из газетных букв фраза: «ТОТ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ВСКРОЕТ ЭТО ПИСЬМО, УМРЕТ ЧЕРЕЗ ДВАДЦАТЬ ОДИН ДЕНЬ». Ласточка остолбенел. В дверь позвонили.

Игра в Маджонг возвращала Ласточку в детство. Ее привез в Прибалтику отец его друга Митюхи, китаист. Приехал, велел расчистить стол, убрать с него следы пиршества до малейшей крошки и затем торжественно водрузил на середину стола деревянную коробочку, напоминающую шахматную, только абсолютно гладкую, без черных и белых квадратов. Им, детям, было разрешено смотреть, только смотреть, но ничего не трогать руками. В коробочке оказались плотные ряды похожих на домино камней, лежавших вверх зелеными «рубашками» по три камня в столбце. Митюхин папа стал медленно вытаскивать камни, переворачивать их и объяснять, что есть что. Они сгорали от нетерпения.

Митюхин отец считался занудой, и все, что он делал или говорил, доводило окружающих до полного изнеможения, столь неторопливой и обстоятельной была его манера жить. Чтобы его действия вместо раздражения вызывали умиление, в нем явно недоставало чудаковатости гения, и поэтому он часто подвергался нападкам, которых, видимо, и не замечал вовсе, следуя изо дня в день по своему собственному маршруту. По нему можно было проверять часы. Он вставал в одно и то же время, когда все остальные в доме еще спали (ведь отпуск, лето), обильно завтракал, методично приготавливая себе яичницу и бутерброды, затем садился за работу:

кажется, все время переводил какую-то книжку с древнекитайского, приговаривая, что этой работы ему хватит на всю жизнь. Впервые за день все видели его за обедом, и он каждый раз принимался что-то рассказывать, монотонно, длинно, пресно, до тех пор, пока не взрывалась митюхина мама, и он равнодушно замолкал. После обеда он каждый раз хотел идти с детьми на прогулку, но они каждый раз отказывали ему, у них были свои планы, и он отправлялся один, вдоль моря, в любую погоду. Он шел, медленно перебирая ногами. Митюхина мама сбежала от него через пару лет к Митюхиному отчиму, Сергуне-красавцу, который по утрам бегал вдоль моря, купался в ледяной воде и кидал самых младших из детей как «железо». Чем он занимался, ребята не знали, но недолюбливали его за то, что он поколачивал Митьку, и изрядно. А Митькин отец через несколько лет женился на американке и стал профессором в Беркли. Ласточка видел его лет пять назад — моложавый старик с белозубой улыбкой, столь же занудный, как и раньше, но только теперь энергично желавший тебе удачи и предпочитавший утренней яичнице свежий апельсиновый сок.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.